

Л. Козлова

## Одинокий дух (Марина Цветаева и время)

Я — мятежница лбом и чревом!

*Марина Цветаева*

Одна из всех — за всех — противу всех.

*Марина Цветаева*

Гражданская позиция Марины Цветаевой. Принято считать Цветаеву поэтом камерным, лирическим. Так много раз уже повторено, что она от политики всегда уходила. Да и не без ее участия сложилась версия ее полной аполитичности:

«Если Гумилев: — Я *вежлив* с жизнью современною ... — то я с ней *невежлива*, не пускаю ее дальше порога, просто с лестницы спускаю».

Это из письма 30-х годов. В 1932 прозвучит ее: «Я — ни с кем». А в 1935 написаны строки:

Двух станов не боец: судья — истец — заложник —  
Двух — противубоец. Дух — противубоец.

И это только повторение того, что она давала понять всю жизнь — на все лады! — то, что так охотно писали ее советские биографы. Это было названо «над схваткой», это преподносилось нередко не просто как невмешательство в политику, а как этакое женское — или поэтическое? — отворачивание, чтобы жить по-своему в своем оторванном от жизни «неземном» — поэтическом — доме. «И домой: в неземной — дамой!» — скажет она сама, имея в виду свой духовный мир, тот дом, куда никому нет хода и который нельзя отнять. Но все это одновременно так — и не так, верно — и неверно, прежде всего из-за цветаевской — такой уж известной — противоречивости, полюсности восприятия и суждений. Для сравнения поставим рядом хотя бы такое ее высказывание:

«Признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе».

А чтобы понять всю необычность и непростоту цветаевского мироощущения, приведем еще несколько извлечений из писем ее Ю.П. Иваску 30-х годов:

«Ненавижу свой век потому что он век организованных масс, которые уже не есть стихия, ... лишенных органичности... Мне в современности и в будущем — места нет. Всей мне — ни одной пяди земной поверхности, этой малости — мне — во всем огромном мире — ни пяди (сейчас стою на своей последней, незахваченной, только потому, что на ней стою: твердо стою: как памятник — собственным весом, как столпник на столпу).

— Но кто Вы, чтобы говорить «меня», «мне», «я»?

— Никто. Одинокий дух. Которому нечем дышать. (И Пастернаку — нечем. И Белому было нечем. *Мы* есть. Но мы — последние)» (1934).

А через полтора года — ему же:

«И основное — над всеми и под всеми — чувство КОНТР — чисто-физическое: наступательное — на пространство и человека, когда он в количестве» (1935).

И еще:

«Все мои непосредственные реакции — *обратные*. Преступника — выпустить, судью — осудить, палача — казнить...» (1937).

А в последние годы российский читатель познакомился с раздумьями Цветаевой о Поэте и Времени, где в фокусе внимания — проблема Современности, которую она

определяет как «совокупность лучшего». Спустя пятнадцать лет после революции она пишет в Париже:

«Те, кого в Советской России или кто сами себя по скромности зовут попутчиками, — сами вожатые. Творцы не только слова, но и видений своего времени... Не “попутчество”, а одинокое сотворчество»... «И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться»

— эта формула Цветаевой прежде всего — о самой себе.

Но все это плод раздумий поэта из далека Времени и Пространства. А что было в саму революцию? У А. Саакянц, например, об этом читаем «Вряд ли Марина Цветаева ощущала гул исторических назревающих событий. Знала ли толком о происходящем Цветаева...?» — «Что я, в люльке качалась?» — через несколько лет после революции скажет — как будто ей ответит — сама Марина Цветаева.

Видимо, настало время развеять миф о негражданственности Цветаевой: ведь идея гражданского долга пришла к ней очень рано. Как это начиналось?

1902 год. Марине 10 лет. Она живет вместе с заболевшей чахоткой матерью и младшей сестрой Асей в Италии, в Нерви. Ей постоянно приходится слышать жаркие споры тут же живущих революционеров-эмигрантов — и вот результатом — ее стихи, донесенные до нас, сохраненные памятью Аси:

Взвейся, взвейся, наше знамя  
В голубой простор,  
Чтобы все тебя видали  
Выше снежных гор ...

Ялта, весна 1906 года. Марине еще нет четырнадцати. Новые стихи, которые тоже запомнила Ася:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!  
Вы не поймете никогда,  
Как можно жить одним стремленьем,  
Лишь жаждой воли и добра ...  
Вы не поймете, как пылает  
Отвагой бранной грудь бойца,  
Как свято отрок умирает,  
Девизу верный до конца!

Стихи еще очень детские, но разве в этом суть? Запальчивость тона, яркость собственного горения, бунтарство. Марина уже мятежница. Сказалась дружба с революционерами, жившими неподалеку, сказались недавние революционные события, которые она тяжело переживала: расстрел мирного шествия в 1905 году, гибель лейтенанта Шмидта, судьба Марии Спиридоновой.

В июле 1906 года на тарусской даче угасла горячо любимая мать сестер Цветаевых. Марина в горе уходит жить в пансион московской гимназии фон Дервиз. Ее школьная подруга того года, писательница С.И. Липеровская, вспоминает:

«Спокойствие гимназисток было нарушено ... Мятежница с вихрем в крови звала к мятежу, к бурному выражению чувств, к подъему».

«Марина была бунтарь» — вторит ей вторая подруга, Ирина Ляхова. А третья, Валя Генерозова, рассказывает:

«Марина старалась меня познакомить с революционным движением, снабжая запрещенными в то время книгами. Она считалась “неблагонадежной”».

Все эти рассказы одноклассниц собраны сестрой, Анастасией Ивановной Цветаевой.

Кому написала Марина те строки, что несколько лет назад мне удалось обнаружить в архиве Басниных-Верхоланцевых? Плотный листок из девичьего альбома. Но вместо обычных — общепринятых, чаще всего пустых — стихотворных пожеланий — все девуш-

ки этим увлекались! — Марина пишет в альбом, по существу, программу для молодежи, напутствие:

«Блажен, кто цель избрал,  
Кто вышел на дорогу,  
И мужеством борца  
И верой наделен! —

По-моему, самое главное найти себе высокую, гордую, светлую цель. Дорогу к ней тебе укажет сама жизнь! —

*М. Цветаева. 12 апреля 1907 г. ...*

...Милый друг, не рвись усталой душой  
От земли порочной — родины твоей.  
Нет! Живи с землею и страдай с землею  
Общим тяжким горем братьев и людей!»

Марина на половине пятнадцатого года жизни сформулировала внутреннюю установку — гражданскую — для любого века — вневременную. И когда она двадцать пять лет спустя будет писать «Поэт и время», вряд ли вспомнит эти строки, рассуждая о современности так:

«Мировая вещь... Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век — беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек».

...Похоже, что Марина Цветаева уже в четвертом классе гимназии могла бы сказать свое — гордое:

«Я от будущего заказы принимаю непосредственно»...

А пока она пишет мятежные стихи, уносящиеся в разбойную шиллеровскую романтику:

У нас за робостью лица  
Скрывается иное.  
Мы непокорные сердца.  
Мы молоды. Нас трое.  
Мы за уроком так тихи,  
Так пламенны в манеже.  
У нас похожие стихи  
И сны одни и те же.  
Служить свободе — наш девиз,  
И кончить, как герои.  
Мы тенью Шиллера клялись.  
Мы молоды. Нас трое.

Тогда же, вероятно, возникает в ее стихах образ «барабанщика», ведущего за собой массы. Валя Генерозова вспоминает:

«Марина уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще».

Пройдет несколько лет — и Марина напишет:

...но знаю, что только в плену колыбели  
Обычное — женское — счастье мое,

еще позже — станет женой и матерью трех детей — и многие годы будет бороться с тяжелой повседневностью на грани нищеты ...

А пока она в крайнем максимализме отвергает все, что в дальнейшем войдет в ее жизнь:

В майское утро качать колыбель?  
Гордую шею — в аркан?  
Пленнице — прялка, пастушке — свирель,  
Мне — барабан!

Женская доля меня не влечет:  
 Скуки боюсь, а не ран!  
 Все мне дарует — и власть и почет —  
 Мой барабан.  
 Солнышко встало, деревья в цвету...  
 Сколько невиданных стран!  
 Всякую грусть убивай на лету.  
 Бей, барабан!  
 Быть барабанщиком! Всех впереди!  
 Все остальное — обман!  
 Что покоряет сердца на пути,  
 Как барабан?

(«Барабан»)

Свой бунтарский дух и свою линию поведения Марина не только не скрывала — всячески утверждала! — боролась. С.И. Липеровская вспоминает:

«Из кабинета директора был слышен громкий голос Марины: “Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговаривать. Не боюсь ваших предостережений, угроз. Вы хотите меня исключить — исключайте!”»

Марину дважды исключали из гимназий — за бунтарство и дурное влияние на других учениц. И вот в 1908 году — она в гимназии Брюхоненко, считавшейся либеральной. Она и кончит ее в 1910 году, и получит аттестат за семь классов. Т.Н. Астапова, проучившаяся с Цветаевой в 6 и 7 классах, вспоминает, как однажды на уроке преподавателя истории Е.И. Вишнякова Марина рассказывала «не по учебнику» о французской революции:

«Вишняков был удивлен, с уважением посматривал на свою ученицу и, сколько помнится, благодарил».

Итак, к шестнадцати годам увлечение революционной романтикой и идеями добра и справедливости привело Цветаеву к изучению первого революционного опыта — истории французской революции — кровавой, жестокой, где почти каждые полгода менялась власть — и гильотина безостановочно рубила всё новые головы бывших правителей. И в конце революционного каскада — Наполеон Бонапарт, вначале первый консул, затем император, — которым всё и кончилось. Каких и сколько книг прочитано ею об этом — сейчас сказать трудно, и сестра Марины здесь тоже помочь ничем не может. Как святая святых хранила Марина свои увлечения, своих кумиров. А таким кумиром в зиму ее шестнадцатилетия стал Наполеон Бонапарт.

Чем привлекла Марину Цветаеву его личность? Да еще настолько, что — на время — он для нее — сам Бог, настолько, что в божницу его вставила — вместо иконы, в правый угол своей красной с золотыми звездами комнатки в Трехпрудном московском переулке. Наполеона — на фоне горящей Москвы, ее любимого города, который позже не раз воспевала.

Может быть, ее пленила сила личности, вставшей — в одиночестве — против *всех*? Положившей конец во Франции потокам крови? Личность мыслителя, высказывания которого не раз вспоминала — и приводила в своей прозе? Вся необычность его судьбы и конец — страдальцем на острове Святой Елены? Впрочем, не менее жаркая любовь у Цветаевой и к его сыну — слабому, болезненному и утонченному Наполеону II, полной его противоположности, самой беспомощности, к «Орленку», как назвал его Эдмонд Ростан. Это ростановскую пьесу с таким названием переводила с французского Марина в 1909 году, не зная еще, что перевод уже семь лет назад сделан Т. Щепкиной-Куперник...

Звучали мне призывом Бога  
 Твоим крестин колокола –

обращается она к «Орленку», своей «великой любви», пленнику Шенбрунна, тихо зачахнувшему в изоляции. И если Наполеон — Бог, то «Орленок — «сын Божий»:

«Твоей Голгофой был Шенбрунн».

Марина часто — и потом тоже — возводила любимых до уровня Бога...

Итак, в шестнадцать лет Марина Цветаева — уже бонапартистка. И в «Волшебном фонаре», второй ее книге, есть стихотворение «Бонапартисты», где перед страстно любимым образом — двое: она и Эллис (Л.Л. Кобылинский), поэт и переводчик, большой друг сестер Цветаевых.

«Обожания нить нас сильнее связала, чем влюбленность — других» — обращается Марина к Эллису в 1910 году. Обожание Наполеона. Того, кто в 1812 году посягнул на Россию, дошел до Москвы, из-за которого Москва и сгорела... Это обожание не укладывается в голове... Но ведь написал же Лермонтов — перевел — сочувствующее стихотворение о разбитом и поверженном Наполеоне — «Воздушный корабль». Положил же на музыку Глинка стихотворение Жуковского «Ночной смотр». Романс этот даже сто лет спустя после того, как император лег в гроб, со скорбью и слезой в голосе, нагнетая мистическое настроение, пел Ф.И. Шаляпин: «В двенадцать часов по ночам...» Может быть, на Наполеона в те поры у некоторых русских был какой-то другой взгляд, нам не ведомый, а не только как на врага России? Заслоненный от нас прямолинейностью суждений огневого XX века?..

Но отклики своего возвеличивающего взгляда на Наполеона у Марины Цветаевой всплывут в мае 1917:

Повеяло Бонапартом  
В моей стране.

Это — о Керенском, в котором многие — не только она — видели сильную личность. И фон подходящий — февральская революция 1917 года уже свершилась, нужна была сильная рука. А отрекшемуся царю она уже бросила своё — на Пасху:

Царь! Не люди —  
С вас Бог взыскал.

И еще:

Есть — котомка, колы отнят — трон.

Котомка нищего, нужда — как когда-то у некоторых его подданных, как расплата за «Византийское вероломство Ваших ясных глаз». Никто тогда не ожидал, что всю царскую семью в скором времени ждет физическая гибель... Февральская революция была бескровной и ее приветствовали очень многие. Первая жена Максимилиана Волошина, поэта и художника, Маргарита Сабашникова, в своих воспоминаниях «Зеленая змея» описывает, как революционеры-эмигранты бросались друг другу на шею и плакали от радости, что революция, их мечта, наконец-то свершилась и при этом не пролилась кровь. Мерещилось торжество добра и справедливости — и они спешили вернуться в Россию, строить новую жизнь. Те интеллигенты-революционеры, — убежденные, мыслители — и мечтатели, — которые в числе первых и были сметены революционной волной...

Но всё это будет через много лет, а пока Марина рвется к реальной земной жизни. И Жизнь — со всеми ее сложностями, радостями и болью — начинает перед ней открываться.

Можно тени любить, но живут ли тенями  
Восемнадцати лет на земле? —

спрашивает она у Бога в день своего восемнадцатилетия. И, собираясь во второй половине 1911 года замуж за Сергея Эфрона, собираясь разделить общую женскую долю, она — продолжением размышления о «барабане» и своем назначении в жизни — заявляет во всеуслышание об этом в стихотворении «Вождям»:

Срок исполнен, вожди! На подмости  
Вам судеб и времен колесо  
Мой удел — с мальчуганом в матроске  
Погонять золотое серсо.

Ураганом святого безумья  
Поднимайтесь, вожди, над толпой!  
Все безумье отдам без раздумья  
За весеннее: «Пой, птичка, пой».

«Золотое серсо» — любовь — уводит ее в весну, в семейную жизнь. С «барабаном» покончено. Но значит ли это, что покончено также и с идеей гражданского долга? Прав ли Вл. Орлов, что «всё это выветрилось без следа и остатка»?

К концу 1910 года Марина Цветаева познакомилась с Максимилианом Волошиным, поэтом удивительной духовности, значительности и самобытности. Вскоре она, на пятнадцать лет его младше, становится ему другом и бесконечным собеседником. Двадцать два года спустя, после его смерти, в своем эссе «Живое о живом» вспоминает она *те* их разговоры, такие важные для нее, такие основополагающие, такие питающие. О чем? Да все о том же — о добре и справедливости. А еще — о ненасилии, о невозможности принять любое убийство. О милосердии ко всем страдающим, независимо от того, кто они. И Марина воспринимает, впитывает, как губка, потому что всё это давно уже живет и в ней. Позднее, в конце 1936 года она скажет очень меткое:

«Дать можно только богатому и помочь можно только сильному»...

У Макса так легко было брать, всё было таким созвучным её собственному внутреннему богатству! Наверное, тогда и была завоевана та самая «пядь земли», на которой — до самого конца жизни, несмотря ни на что! — твердо стояла Марина Цветаева — «Собственным весом, как столпник на столпу»? Всем весом своих нескгибаемых гуманных принципов — не поступившись ими ни разу...

Замужество, рождение дочери, стихи, увлечения. Круг людей, о которых мы сейчас говорим с придыханием — «серебряный век»: Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, поэтесса Аделаида Герцык, Софья Парнок, касанием — Михаил Кузмин, В. Розанов, Н. Бердяев и Вяч. Иванов. «Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить», — скажет Марина о себе в 1914 году в письме к В.Розанову. Дополнением к этому — слова семнадцатилетней Майи Кювилье, будущей жены писателя Романа Роллана, ее рассказ французскому цветаеведу Веронике Лосской о временах близкой дружбы с сестрами Цветаевыми и Максом Волошиным:

«Я тогда была душой, газет не читала, Макс и Марина — тоже, они не интересовались политикой. ...Нам было интересно жить. А быт был нормальный, была прислуга, у нее был хороший дом. А после революции стало ужасно, конечно, во время революции она страдала, но она была уверена в себе».

Итак, революция. К февральской Цветаева присматривается с интересом, она заметно не нарушает течение жизни: старое здание уже зашаталось, но не рухнуло. И Марина в сентябре 1917 года спокойно едет в Крым, к сестре, оставив детей в Москве. Возвращается она уже в октябрьские события. И вот тут дневниковые записи Марины Цветаевой приобретают характер «Земных примет» — так она их назовет позже.

«Октябрь в вагоне» пишется прямо в поезде. Только что совершился октябрьский переворот. Кремль еще держится, за него идут бои: с одной стороны 56-й полк — именно там служит прапорщиком ее муж, Сергей Эфрон, с другой — восставшие. Сведения в поезде поступают самые устрашающие и недостоверные. Марина мастерски передает разноголосицу революционного Октября 1917 года, еще не понятого — потому что не пережитого, а переживаемого. Великая ломка тревожит каждого, захватывает, будоражит. Со всех сторон голоса, несмолкающие разговоры попутчиков из разных слоев населения. Пока они едут в одном вагоне, но скоро станут по разные стороны фронта, разделившись на красных и белых, и со всей силой взаимной непримиримости начнут гражданскую войну.

Марина Цветаева почти неотрывно пишет. Эти записи человека, в революции не участвующего, вовсе к ней не готового и вообще далекого от политики. В то же время это

пристальный взгляд — особое видение Поэта, который *не может* не отразить то, что происходит вокруг. Но это, возможно, и единственное спасение от крайнего напряжения, крайнего волнения за мужа. Что-то с ним? Жив ли? И в порыве отчаяния («если убит — умру!») Цветаева пишет «письмо в тетрадку» и там среди прочего:

«Если Бог сделает это чудо, оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака».

Можно считать, что именно в этот момент она определила свою судьбу. Марина Цветаева всю жизнь была человеком Долга. Написав так, она, по существу, дала обет, клятву. Ее дочь, Ариадна Эфрон, уже после смерти матери писала:

«Мама дважды сломала свою жизнь из-за отца. Первый раз, когда уехала за ним из России, второй — когда за ним же и вернулась».

17 июня 1938 года, за год до возвращения в СССР, Цветаева на полях рассказа «Октябрь в вагоне» делает приписку: «Вот и пойду как собака». Ведь Сергей Эфрон уже с осени 1937 — снова в Москве. Но все это будет через тридцать лет. А пока она убеждается, что муж жив и в вечер того же дня уезжает с ним обратно в Крым.

На короткое время Марина с мужем — в Коктебеле, у Волошина. Она думает и сама перебраться сюда же, но надо забрать детей — они в Москве, — и вот Цветаева снова в вагоне, и опять в ее тетрадке новые и новые разговоры попутчиков. Заключительные записи «Октября в вагоне» относятся уже к концу первого месяца после победы Пролетарской революции. За этот месяц она увидела и узнала многое: практически то же, что позже опишет А. Блок в поэме «Двенадцать»: круговерть и вакханалию революции, опьянение свободой и разгул масс, к свободе не подготовленных, суровую революционную сознательность — и анархию, часто случайную накипь.

Уехать к мужу она не успела: между ними вскоре пролегал фронт гражданской войны. Двадцатипятилетняя Марина с двумя детьми — в Москве, и без всякой помощи.

Итак, старый мир на этот раз зримо развалился. И Марина Цветаева философски замечает:

«Самое главное: с первой секунды революции понять: все пропало! — тогда — все легко».

Все пропало. Вокруг все разрушают — пусть ничего не останется от старого мира! Потеряны средства к существованию, оставленные матерью. Как жить? Чем кормить детей? По ту сторону фронта — в Добровольческой армии — оказался муж, вскоре осознавший, что попал, как он потом скажет, — «не на тот поезд». Туда, откуда потом — всю жизнь по шпалам — трагический путь обратно на родину из эмиграции «не пасынком, а сыном», — скажет позже его дочь, — путь к трагическому концу расстрелянного — своими же. Все пропало — это понятно сразу — ведь так хорошо изучена французская революция, что одного только слова «революция» достаточно, чтобы всё понять наперед. И начинается «пир во время чумы» — этот образ так близок ей по Пушкину. Через два года она почти так и напишет о себе: «поэте и женщине, одной, одной, одной — как дуб — как волк — как Бог — среди всяческих чум Москвы 19 года».

Мы сейчас многое переосмысливаем, прочитываем послереволюционную историю заново — новыми глазами. Окунувшись в кровавые реки разных десятилетий XX века — задним числом! — только что не утонули! многие сейчас пришли к идее миротворчества и постепенного духовного возрождения, пришли через чужой опыт утраченных жизней. Мы вспомнили слова В. Вернадского: «Довольно крови и страданий», мы читаем у Н. Бердяева об антигуманизме и антидемократизме тех давних послеоктябрьских событий — и самого Великого переворота. И сейчас просто повисло в воздухе мнение, что эволюция лучше всякой революции, что при помощи зла не прийти к добру, что разрушая ничего не построишь, что стоит только развязать зависть, ненависть и начать борьбу за власть — то конца этому не будет. Лучше не начинать, а постепенно *перестраиваться*.

Цветаева знала все это с самого начала. Да и не только она, конечно, — многие философы и мыслители провидели будущее. И поэты — тоже. Есть у поэтов такая провидческая способность: Сивиллы они, Кассандры...

Вот и Волошин в последнюю встречу с Мариной и Сережей в Крыму в начале ноября 1917 прочит:

«А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни». — И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой — всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...»

И не случайна здесь Вандея — из времен французской революции, — не случайны и стихи Волошина в тот период — «Пламенники Парижа», воскрешающие ее страшные события: «Взятие Бастилии», «Бонапарт», «Термидор». Ассоциации, предчувствия...

А Марина к этому времени уже создала изумительный образ реальной революционной Свободы — Двуликой, точнее — Двусущностной: высоко-духовной и разгульно-низменной, образ, заслуживающий стать хрестоматийным.

Из строгого, стройного храма  
Ты вышла на визг площадей...  
— Свобода! — Прекрасная Дама  
Маркизов и русских князей.  
Свершается страшная спевка, —  
Обедня еще впереди.  
— Свобода! — Гуляющая девка  
На шалой солдатской груди!

*26 мая 1917 года*

Удивительна в этом стихотворении и его пророческая часть. Оно написано за пять месяцев до Октябрьского переворота, но за четыре месяца после Февраля Марина поняла, почувствовала: это — только начало, «страшная спевка» будущей страшной «обедни»...

Так ощущала ли Цветаева «гул надвигающихся исторических событий»? ...

Провидела она и судьбу своего мужа — задолго до революции. Еще в 1913 году написала она о Сереже:

Такие — в роковые времена —  
Слагают стансы — и идут на плаху.

Она сразу увидела в нем политического романтика, готового на самопожертвование, политика-мечтателя. Таким он и станет — постепенно — почти до самого конца своего живя любовью к России и видя в Советском Союзе, как выразилась Цветаева, «только то, что хочет». Видимо, так же, как и в службе своей в НКВД — в Париже, — которой он старался заслужить прощение перед новой властью и разрешение вернуться на родину... Великая вера, великая расплата таких людей за нее «в те роковые времена»...

Провидела она и их общую с мужем — «одноколыбельников» — судьбу: «Так вдвоем и канем в ночь — одноколыбельники» — напишет она за двадцать лет до их гибели — обоих! — в 1941 году. Пророчества, пророчества. «Стихи — сбываются, потому — не все пишу», — скажет она позднее.

Итак, Октябрьский переворот свершился. С самого начала Цветаева ощущает себя в революции защищенной — своей ни-в-чем-невиновностью:

Плохо сильным и богатым,  
Тяжко барскому плечу.  
А вот я перед солдатом  
Светлых глаз не опущу.

Впрочем, эти светлые — «цвета крыжовника» — глаза не опускаются не зря: они все видят. Они очень наблюдательны — и все сразу же записывается, все, что заслуживает писательского внимания, и прежде всего — это психологические зарисовки, чаще всего — остро-гротескные.

«Очередь — вот мой кастальский ток: мастеровые, бабки, солдаты».

И для тех, кто хорошо знает Цветаеву-поэта, ее четкое видение — совершенно новое качество. Но все это вполне объяснимо.

В личной своей жизни, в своих постоянных, все новых увлечениях людьми, в своих влюбленностях она не торопится видеть. Предпочитает видеть не сразу: сначала обольститься, очароваться и даже мысленно попросить: «еще понравься!», а уж потом — разглядывать. И очень часто такое «во-вторых-разглядывание» приносит четкое видение — и разочарование. И тогда — конец поэтическому взлету. Но это — только в личной жизни. Общественные события — поскольку ими Цветаева не способна обольститься, политика — не ее сфера, — их она видит сразу — и внешним и внутренним оком. И вот — в первые же дни после революции — в ноябре 1917, — гротескная картина «свободы»; в Феодосии разгромлен винный склад. Вино течет по улицам потоками.

Гавань пьет, казармы пьют. Мир — наш!  
Наше в княжеских подвалах вино!  
Целый город, топоча как бык,  
К мутной луже припадая — пьет.

Земные приметы. Цветаева надеялась, что ее дневниковые записи увидят свет. Уже будучи за границей она готовится издать из них книгу с таким названием. Но берлинское издательство «Геликон» ставит ей условие: «вне политики». В серии писем 1923 года читаем ее реакцию:

«...Москва 1917 г. — 1919 г. — что я, в люльке качалась? Мне было 24–26 л., у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, — куда только не носили! *Политики* в книге нет: есть *страстная* правда: пристрастная правда холода, голода, гнева. Года!.. Это не *политическая книга*, ни секунды. Это — живая душа в мертвой петле — и все-таки живая. Фон мрачен, не я его выдумала».

И еще:

«В ней есть очаровательные к<оммуни>сты и безупречные б<елогвар>дейцы, первые увидят *только* последних, а последние — *только* первых».

И позже, в ее переписке 30-х годов звучало все то же: «одни меня считают «большевичкой», другие «монархисткой», третьи — и тем и другим, все — мимо». А это было — просто сочувствие всем слабым, страдающим и терпящим поражение. И кроме того — четкое видение — кто есть кто. Вот она восхищенно описывает — выписывает! — восемнадцатилетнего коммуниста, своего временного жильца:

«Без сапог... Себя искренно и огорченно считает скверным, мучится каждой чужой обидой, неустанно себя испытывает, — все слишком легко! — нужно труднее!... берет на себя все грехи сов<етской> власти, каждую смерть, каждую гибель, каждую неудачу совершенно чужого человека! — помогает *каждому* с улицы, — вещей никаких! — все роздал и все рассорил! ходит в холщевой рубахе с оторванным воротом — из всех вещей любит только свою шинель, — в ней и спит, на ногах гетры и полотняные туфли без подошв — “так скоро хожу, что не замечаю!” ... Его рассказ о Крымском походе — как отпускал офицеров, ... — как защищал женщин».

А вот — совсем иной образ. Мать рассказывает в 1918 году о сыне-красноармейце в реквизиционном отряде — центральном в России! — на станции Усмань, Тамбовской губернии, куда едет за продуктами:

«Уж три раза ездила, — Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся — понятное дело... Кто ж своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то своему Кольке говорю: “Да побойся ты Бога! Ты сам-то хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так — человека по миру пускать? Ну захватил такую великую власть — ничего не говорю — пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая”. ... А уж почет-то мне там у него на пункте — ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того

несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки из четвертого класса вышли: Колька в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке — только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Марина Цветаева, которая передает рассказ попутчицы, едет туда впервые, вернее, не совсем туда, а в Тамбовскую деревню «за пшеном» — менять вещи на крупу. Сентябрь 18-го года. В Москве — голод, надо как-то кормить двух детей, двух дочек — шести и полутора лет. Так появляется цветаевский «Вольный проезд» — вещь сугубо документальная. В этих зарисовках — снова разногласия толпы. Ее собственные оценки порой безжалостны, но заслуженны. А вот и она сама — среди всего, среди всех:

«С утра — на разбой. — “Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу! ...” — Как в сказке. — Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: “И им удобно, и нам с Иосей полезно”. “Продукты” — вольные, обеды — платные). Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте). Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячу... А иной раз — просто петуха... Я по самой середине сказки... Разбойник, разбойникова жена — и я, разбойниковой жены — служанка. Конечно, может статься — выхвачу топор. А скорее всего, благополучно растрясся свои 18 ф. пшена по 80 заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же — без отдыши — выдышусь стихом!»

Создается впечатление, что именно в этой поездке сложились цветаевские размышления — теперь уже известные читателю:

«Кого я ненавижу (и вижу), когда говорю: *чернь* ... Ненавижу поняла — вот кого: толстую руку с обручальным кольцом и (в мирное время) кошелку в ней, шелковую («клеш») юбку на жирном животе, манеру что-то высасывать в зубах, шпильки, презрение к моим серебряным кольцам (золотых-то, видно, нет!) — уничтожение всей меня — все человеческое мясо — мещанство!»

В диалогах «Вольного проезда» с этим — текстуальное сходство. Именно здесь, в ее поездке, к ней постоянно обращаются: «товарищ», — и это тоже всплыло в ее размышлениях — о рабочих: «От чистосердечного “товарищ” — чуть ли не слезы на глазах».

В «Вольном проезде», как, пожалуй, нигде, отчетливо проглядывается цветаевский «противушерстный строй», склонность к фрондерству и веселому розыгрышу, особенно жестокому по отношению к невежественным и неприятным ей людям-выскачкам. Впрочем, фрондой пронизано все ее поведение первых послереволюционных лет.

«Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю “Белую гвардию”.

Белая гвардия — путь твой высок ...

За белой гвардией — еще белая гвардия, за второй — третья, весь Дон, потом “Кровных коней” и “Царю на Пасху”...»

И так — очень часто, так — во всем.

Фронта — и сочувствие к побежденному. В какой-то момент 1918 года кажется — вот на днях победят белые, в Москву войдет Мамонтов. И сразу же — стихи:

... Царь и Бог! Жестокой казнию  
Не казните Стеньку Разина!  
...  
В отчий дом дороги разные.  
Пощадите Стеньку Разина!

Но победа не состоялась, «Стеньку Разина» щадить не пришлось, а сам он был беспощаден — уже начался «красный террор»... «Кровь, кровь, кровь». И вот — цветаевский взгляд — поворотом головы — сразу в две стороны — на белых и на красных:

Белый был — красным стал:  
 Кровь обагрила.  
 Красным был — белый стал:  
 Смерть побелила.  
 ...  
 И справа и слева  
 И сзади и прямо  
 И красный и белый:  
 — Мама!

Вспоминала ли Марина свои разговоры с Максом Волошиным, его миротворчество, когда оплакивала *всех* погибших? А Макс в это время в Крыму прятал в своем доме на берегу моря *всех*, кто в этом нуждался. Власть менялась часто и среди скрываемых побывали и белые и красные. Последнее обстоятельство и спасло жизнь Волошина и его дом — Дом Поэта, как его теперь называют — от разорения и разграбления: один из скрываемых там красных об этом позднее позаботился.

Осенью 1918 года Марину Цветаеву устроили на службу — по иронии судьбы — в Народный комиссариат по делам национальностей, Наркомнац, подчинявшийся в то время непосредственно Сталину, будущему палачу ее семьи, да, впрочем, и всего советского народа. Примерно в это время она сближается с юными актерами вахтанговской Третьей студии Художественного театра и сама начинает писать пьесы — шесть романтических выплесков ее мятущейся молодости, цикл, так и названный позднее «Романтика». В ее жизнь входит еще никому не ведомый будущий актер и режиссер Юрий Завадский, юный поэт Павлик Антокольский, ныне совершенно забытая молодая актриса Сонечка Голлидэй, известная нам *только* через цветаевскую «Повесть о Сонечке», и вскоре погибший студиец Володя Алексеев. В ее голодную и предельно напряженную жизнь входит Театр и не только умещается в ней, но как бы отодвигает, притупляет на время все прочее, создает смысл жизни — в «чуму» привносит «пир». Все удивительно переплетается, как это возможно только в молодости, как это всегда может Марина Цветаева «с ее порохом».

«Все были молоды и говорили о театре и о любви, о поэзии и о любви, о любви к стихам, о любви к театру, о любви вне театра и вне стихов ...» —

так вспоминает много лет спустя это время старшая дочь Марины, Ариадна Эфрон, тогда шестилетняя Аля — студийцы часто бывали у Цветаевой в гостях в ее борисоглебской квартире.

Но иногда Марина как бы спохватывается: Сережа там сражается, а она... Так появляются строки, безжалостно самобичующие:

Пока легион гигантов  
 Редел на донском песке,  
 Я с бандой комедиантов  
 Браталась в чумной Москве.  
 ...  
 Чтоб Совесть не жгла под шалью —  
 Сам Чорт мне вставал помочь.  
 Ни утра, ни дня — сплошная  
 Шальная, чумная ночь.  
 ...  
 И только порой, в тумане,  
 Клонясь, как речной тростник,  
 Над женщиной плакал — Ангел  
 О том, что забыла — Лик.

Цветаевское внутреннее многоголосье так часто не спевается ...

Маринина работа в Наркомнаце — систематизировать и наклеивать вырезки из газет. Она выбирает себе прессу о белогвардейцах (как-то там ее муж, ее «белый лебедь?»), — и вот почти шесть месяцев она постоянно в курсе газетных сообщений. Ежедневно пишется будущая дневниковая подборка «Мои службы», будущий цикл стихов «Лебединый стан», будущий цикл «Комедьянт» — и пьесы будущего цикла «Романтика». И между всем этим идет постоянная борьба за жизнь, за существование — своих детей и самой себя: найти что сварить, чем накормить, как обогреться... Но это еще не самое трудное для ее семьи время, 1919 год будет самым «чумным»...

В «Моих службах» — все тот же пристальный, все подмечающий взгляд, гротескность изложения увиденного. Как видно из цветаевских записей, особого порядка и дисциплины в Наркомнаце нет. Когда еще, дорвавшись до власти, «родной и любимый» начнет «завинчивать гайки»! А пока здесь — благодущие и доброжелательная ленца. И вот что для нас особенно интересно: уже зародился и крепнет в молодой стране бюрократический тормоз прогресса — сколько разговоров о нем сейчас, в наши дни! Еще «отечество в опасности», но кое-какое начальство уже «стрижет купоны» со своего высокого положения: в кабинете — «точно в старое время» — «секретер красного дерева, ковер, бронзовое бра». А из-за бессмысленных запретов и проволочек пропадают тонны картошки, с трудом раздобытой в деревне, — и это в голодающей Москве! — замерзают и гниют на вокзале три недели — и вот уже служащие, и среди них Цветаева, разбирают и тащат по домам гнилье. И уже кому-то не жаль народных денег — пусть совершенно бездействующий работник приходит за зарплатой, — «мне не жалко» — слышит Цветаева от своего начальника. И уже раздуты штаты так, что многим дела на службе хватает только на пару часов, да и то не каждый день.

Цветаева описывает дележ ведомствами ценностей соллогубовского особняка — того, где раньше помещался Наркомнац, а позже Союз советских писателей, — и варварское обращение с отвоеванным. Она издевается над самовыпячиванием иных начальников, она смеется, смеется — даже тогда, когда хочется плакать. И — параллельная струя, стихотворная: «... еженошно я во сне свершаю Путь — с Севера на Юг». Туда, где муж, туда, где «Молодость — Доблесть — Вандея — Дон». Где Смерть «продразнилась крутыми скулами» ... Пишется «Лебединый стан» — и не один год. И Марина горда своей миссией:

«Белый поход, ты нашел своего летописца!»

А что, если бы Сергей Эфрон не оказался в белой армии? Сколько стихов из этого цикла не было бы написано? Ведь Марина Цветаева следила за гражданской войной *пристрастно*, всеми силами души защищая своего мужа, на его стороне... Она поймет это только за границей, когда в 1922 году встретится там с вновь обретенным Сережей. Разговор между ними вспоминает их дочь Ариадна Эфрон:

«И все же это было совсем не так, Мариночка, — сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из “Лебединого стана”. — Что же — было? — Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не “мы”, а — лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками — только и всего... Обратное, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь...»

Марина Цветаева при жизни своей «Лебединого стана» не опубликовала, хотя возможностей таких у нее было предостаточно... Однако, непримиримость к действительности, которая развертывалась в те годы перед ее глазами, у нее навсегда осталась...

В 1933 году она напишет Ю.П. Иваску:

«...Эмигранты ненавидят п. ч. отняли имения, я ненавижу за то, что Бориса Пастернака могут (так и было) не пустить в его любимый Марбург, а меня — в мою рожденную Москву. А казни, голубчик — все палачи — братья: что недавняя казнь русского, с *правильным* судом и слезами адвоката — что выстрел в спину чеки — клянусь, что все это одно и то же, как бы оно

ни звалось: мерзость, которой я *нигде* не подчиняюсь, как вообще никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и чьим именем бы оно ни оглажнялось».

Какая жестокая насмешка судьбы! Ведь она отрицает именно то, что скоро — незримо для нее — войдет в ее жизнь!... В 1933 году муж Марины Цветаевой уже подал прошение о советском паспорте и был близок к своей будущей работе в органах НКВД, вербовавших в те годы людей за границей, работе, которая кончится провалом в деле убийства невозвращенца Рейсса осенью 1937 года, после чего он сбежит из Парижа в Советский Союз — навстречу своей гибели — от рук того же НКВД...

Но пока «Лебединый стан» еще пишется, еще идет гражданская война и нет вестей от Сергея Эфрона, и долго еще Маринина непримиримость будет помогать ей писать безудержные предотъездные стихи конца 1921 — начала 1922 года, и за границей тоже — поэмы «Перекоп», «Крысолов», «Красный бычок» и «О царской семье», основная часть которой пропала и ныне неизвестна, от которой сохранился только раздел «Сибирь». И вместе с этим она будет в 30-х годах восхищаться современной русской — советской! — детской книгой и напишет об этом восторженную статью, которую потом не преминет оговорить эмиграция. Она в 1929 году будет переводить приехавшего во Францию Маяковского его парижским слушателям, скажет ему свое знаменитое «Сила — там!» — о Советском Союзе, из-за чего ее перестанут печатать в единственной к тому времени печатавшей газете «Последние новости». Пропасть между Цветаевой и правой парижской эмиграцией от этого будет все шириться и углубляться.

О вере Марины Цветаевой в силу Советской России мы и сейчас можем прочесть в цикле стихов «К Чехии», написанном по горячим следам захвата ее Гитлером на основе газетных статей и последних событий 1938–1939 годов.

Прага — что! И Вена — что!  
 На Москву — отважься!  
 ...  
 Отольются — чешский дождь,  
 Пражская обида.  
 — Вспомни, вспомни, вспомни, Вождь, —  
 Мартовские Иды!

Стихотворение это пророческое — каждой своей строкой! До того, как Гитлер «отважится» на Москву, еще *два* года Пакта о взаимном ненападении. До дня победы, когда ему от Москвы «отольются», наконец, чужие следы — еще *шесть* лет! И еще — предсказание покушения на Гитлера: ведь в «мартовские иды», то есть 15 марта, было знамение, что будет убит — своими же! — тиран Калигула — Кай Юлий Цезарь. Марина Цветаева предрекала «вождю» — фюреру — такую же возможность. Как мы знаем, только случайно она не исполнилась...

Но пока Марина — в разлуке 1919 года. Она уже не служит: «Лучше повеситься!» Ведь ее единственная работа — от Бога — писать, и она ее свято выполняет постоянно, несмотря ни на что. Почти через десять лет она напишет отцу Бориса Пастернака:

«Я не жалею, я только ищу объяснения, почему именно я, так приверженная своей работе, всю жизнь должна работать другую, *не мою*...»

А жизнь ее буквально душила...

Цветаевское «Чердачное» живописует нам ее день — только один день. Но он типичен, он такой — со всеми его тяготами — ежедневно. Но в ее голосе — все та же веселая ирония:

«Я восприняла 19-й год несколько преувеличению, так, как его воспримут люди через сто лет — ни пылинки муки, ни солины соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) — ни крупинки, ни солины, ни обмылка! — сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, — так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-й год... Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions на чердак — лестницы нету (спалили) — подтягиваюсь на веревке —

за бревнами, ни *постоянных* ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не дают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа — все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки».

Но это еще не конец 19-го года. В конце его Цветаева по чьему-то настойчивому совету пристроит детей в Кунцевский приют для красноармейских сирот — чтобы не погибли от голода. Для этого ей придется написать, что это не ее дети, что она нашла их на лестнице. Через месяц она заберет домой тяжело заболевшую старшую Алю, а пока она ее будет выхаживать, от голода умрет в приюте ее Ирочка — в начале 1920 года, не дожив до трех лет. Оказалось, что красноармейских сирот практически не кормили — Аля тоже потом вспоминала, как они вылавливали из супа отдельные фасолинки. Директор оказался вором, и американские продукты до детей не доходили. Когда его потом расстреляли, Цветаева сказала: «Это не воскресит ни одного умершего ребенка».

После смерти дочери Марине Цветаевой выхлопотали паек и опасность голодной смерти отступила.

В ноябре 1920 года остатки разбитой добровольческой армии свалились в Черное море и оказались за границей. Для Марины в этот момент Русь — ее надежда и совесть — переселилась за море. В стихах того времени у Цветаевой «Русь через моря Плачет Ярославной» — по плененному, а затем погибшему Игорю. На новый 1921 год она посылает поздравление: «С Новым Годом, молодая Русь за морем за синим».

«Кончен Белый поход». Закончен цикл «Лебединый стан».

С помощью Ильи Эренбурга она разыскивает мужа за границей — и вот в июле 1921 года получает от него первое письмо — он уже в Чехии:

«Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая... Я ничего от Вас не буду требовать, — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...»

На следующий день Марина начинает цикл «Благая весть», а в тетрадке — сразу же запись:

«С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу».

Теперь — все подчинено только идее соединения с мужем. Так вопрос отъезда с Родины решился у Марины Цветаевой в один момент — число личностных, семейных позиций... Так же, впрочем, как и вопрос возврата — через семнадцать лет...

Уезжает из России уже не та Цветаева, которая до смерти Ирины писала в дневнике — шутливо: «“Уже не смеется”, (надпись на моем кресте)». Теперь в ее стихах встречаем: «То вдоль всей голосовой версты Разочарования протяжность» и «прозрения непоправимая брешь». Возможно, она уже прозревала будущую свою жизнь, которая уже несколько лет шла не туда и не так. В стихах появляются бешеные ритмы, черно-красные мелькания и степной половецкий посвист.

Ее гражданская позиция уже не так откровенна, как раньше. Это сразу после Октября она шла в лобовую атаку и скандировала:

Рвитесь на лошади в Божий дом!  
Перепивайтесь кровавым пойлом!  
Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!  
В чортову дюжину — календарь!  
Нас под рогожу за слово: царь!

Теперь ее высказывания более прикрыты, завуалированы — чтобы не сразу дошло, чтобы требовалась расшифровка. Расшифровать же на слух чаще всего не получается, да и воспринимается прежде всего эмоциональный накал — революционный «шаг» — а он вполне соответствует времени. Так, всякий раз забавляясь, читала она перед широкой аудиторией стихи, как их называли слушатели — «про красного офицера»:

Есть в стане моем — офицерская прямоть,  
Есть в ребрах моих — офицерская честь.

— стихи на деле совсем иной окраски, которые кончались так:

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром  
Скрежещет — корми не корми! —  
Как будто сама я была офицером  
В Октябрьские смертные дни.

Теперь она — волк, которого «корми не корми!» — явно смотрела в лес — скорее бы к мужу! — а сердце скрежетало со все большим основанием. Но как тонко стала она подавать то, что хотела высказать!

Вот страничка из «Моиx служб» — и отклик на убийство царской семьи. Оно и сейчас ужасает нас, недавно узнавших бесчеловечные его подробности и ту ложь, которой оно было обставлено. А в то время эта трагедия была самой жизнью, знаменем Времени. И Марина — с виду — мимоходом, с виду — невинно — поминает несчастных. Вот в ее столе — ворох маленьких газетных вырезок. И сразу — ассоциация:

«...Сонм белых бабочек! И я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись, мысленно: “Сонм белых бабочек! Раз, две... четыре...” ( — Нет! — )

Сонм белых девочек!  
Раз, две... четыре...  
Сонм белых девочек!  
Да нет — в эфире  
Сонм белых бабочек!  
Прелестный сонм  
Великих маленьких княжен...

И, отрываясь, к “сотруднику”:  
— Сейчас мы все это восстановим.. (мысленно: кроме великих княжен!)»...

Теперь у Марины Цветаевой везде, где есть гражданские мотивы — ее взгляд, видение, отношение, оценка, — почти везде в стихах — причудливое сплетение разных нитей, смешение и смещение образов, слоев, пластов, подчас этакое сюрреалистическое мерцание химер, смесь личного — и общественного, своего — и общечеловеческого, природного — и политического, что было ее болью и бедой, того, что творилось в России. Так напишет она цикл «Ханский полон», «Масляница широка!», «Бузину» и поэму «Крысолов».

Недавно извлеченное из неведомых нам архивов стихотворение «Двух станов не боец» 1935 года позволяет надеяться, что оно не единственное в тот период и в таком жанре. Это — очередное цветаевское НЕТ той жизни, которая раскололась для нее в 1917 году, распалась на две стороны и с тех пор разрывала ее, требуя выбора — к какой стороне примкнуть. И Марина «единоличный боец» — еще раз ответила, что в каждом стане она «только гость случайный», да впридачу — еще и очень неудобный: «Но гость — как в горле кость, гость — как в подметке гвоздь».

За год до гибели, уже в сталинской «России», Марина написала: «Остается только мое основное *нет*». Ею она и сказала в последний день свой в Елабурге, 31 августа 1941 года, когда добровольно ушла из жизни.

Вчитаемся еще раз в ее формулу:

«Быть современником — творить свое время, а не опережать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновика. Со щей снимают накипь, а с кипящего котла времени — нет?»

Марина Цветаева не приняла того, что и мы сейчас — в нашем прошлом — не принимаем. И как не поразиться точности ее слов:

«Современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает».

Это — еще одно пророчество Цветаевой — о многих, кто сейчас к нам посмертно вернулся, — и о самой себе тоже. Марина Цветаева сейчас — удивительно современна, потому что мы обратились к вечным человеческим ценностям, а она всегда только их и исповедовала. Ее Современность — Вечность. И она это прекрасно знала: и тогда, когда в юности писала широко известное: «Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед». И когда возражала — «из будущего» — Корнелию Зелинскому, рецензенту, «зарезавшему» в 1940 году ее стихотворный сборник. И тогда, когда за полгода до смерти в неприятной для нее Москве вписывала в тетрадку бесконечные, кормившие ее переводы, может быть, мечтая, — вместе с автором — что ее запоеет народ.

...И если над строкою  
Я слеп, и сох, и чах —  
То лишь затем, чтоб пели  
Меня — на всех плотях!

И мы ведь ее уже поем!

А эти строки — ее перевод стихотворения Герша Вебера — как будто о ней самой:

На трудных тропах бытия  
Мой спутник — молодость моя.  
Бегут как дети по бокам  
Ум с глупостью, в середке — сам.  
А впереди — крылатый взмах:  
Любовь на золотых крылах.  
А этот шелест за спиной —  
То поступь Вечности за мной.

1941

Марина Цветаева неотделима от Времени — времени человеческой истории. За ней — Вечность.

14–18 апреля 1990 г.